

— Я не экстремистка, я — экстремалка, — поправила меня Лада Тихомирова, выжимая сто шестьдесят километров в час по Новому Симферопольскому шоссе, ведущему к месту осуществления нашей мечты.

Одной рукой она придерживала рулевое колесо своего «Рено», другой нет-нет, не снижая скорости, да и покачает трехмесячную малышку Аленку, если та вдруг заворочается, забеспокоится, приоткроет синие глазки, быстренько впитывающие все окружающее, в том числе и мою усатую физиономию на заднем сидении, прижатую к дверям двумя детскими пустыми (слава Богу!) автокреслами.

Лада не умеет ездить со скоростью менее ста километров в час — этому противился даже ее первый муж-гонщик — и поэтому присутствие ее за рулем (а за рулем она постоянно) с трудом переносит ее нынешний муж — красавец великан, также во втором браке. Он директор медицинского центра, врач, специализирующийся по чудесам восточной медицины — личность сугубо положительная, серьезный деловой человек, обеспечивающий шестерых детей (трех от первого брака и трех от нынешнего — с Ладой). Рождение детей нисколько не отразилось на фигуре Лады — стройная классическая длинноногая блондинка с мягким овалом лица и светлыми глазами, в которых совершенно отсутствует какой-либо хищный блеск, так свойственный современным красоткам, усиленно подгоняющим свою внешность под телерекламу.

Но скорость приходится снизить до ста! — малышка закапризничала, и Лада ловким движением расстегивает блузку, помещает Алену между собой и рулевым колесом, давая ей свою упругую, совершенно не испорченную естественным вскармливанием трюх детей грудь.

Мимо нас пронеслись машины, и можно было улавливать изумленно-неодобрительные лица водителей мужчин при виде белокурой Валькирии, обгоняющей их на скорости сто километров в час и одновременно кормящей грудью ребенка.

Мне самому было не по себе...

— Как только тебя муж отпустил?..

Вопрос, повисший без ответа: как можно изменить погоду?

Я видел его год назад и совсем недавно, когда он приходил ко мне на обследование, и поразился разнице: раньше это был двухметровый гордый великан с русыми вьющимися волосами, собранными на затылке в модную косичку, сейчас в нем все то же — но совершенно седой!

— Лада, — говорю я, — мне жаль твоего мужа, за год он стал совершенно седым! Вот и сейчас для него опять переживания, ведь Лада мчится не на обыкновенную прогулку, сегодня нас должен поднять в небо самолет и сбросить вниз! И надежда лишь на то, что сработает парашютное кольцо!

— Его все жалеют! — удивляется Лада. — Но почему же меня-то никто не жалеет?

Я замолкаю, отговаривать ее не лихачить вовсе не входило в мои эгоистичные планы.

Я, бывший генетик, понимаю, что есть просто разные люди — пахари и разведчики, и все дело в геноме. У некоторых людей не хватает генов, обуславливающих выработку гормонов удовольствия — эндорфинов, вот им и нужны всегда новые впечатления, вот им и не сидится на месте, иначе — депрессия, чернота.

Спорить, пожалуй, бессмысленно. Хотя я бы на месте мужа встал бы баррикадой ради троих крошек — пяти и четырех лет и совсем маленькой — трехмесячной. Но это легко на словах. Наверняка вставал, но и полюбил именно такую в надежде, что со временем перебесится, нарожает детей и станет такой, как другие мамыши. Но увы, седые волосы и боли в сердце — результаты этой бесплодной борьбы.

Лада Тихомирова! Боже мой, как может быть обманчиво имя и фамилия! Как бы на это посмотрели астрологи? Ее родители — тихие и спокойные люди, врачи, — давая имя к столь мирной фамилии, словно благословляли ее на тихую, полную полусонного семейного счастья жизнь.

Но Ладу тянуло на приключения, на бешеные скорости, прыжки в бездну, риск... Семь лет назад она прыгала со Строгинского моста. Шел по мосту молодой парень, на глазах у всех нес на руках красивую девушку, улыбался — и вдруг... швырнул ее за перила... Чуть не спровоцировал серьезное ДТП! Парня чуть не разорвала публика, а когда люди кинулись к перилам, увидели Ладу, вставшую с земли и погрозившую кулачком: «Не дождетесь!» Система страховки сработала безотказно. На этот раз.

Лично мне этот поступок гражданки Тихомировой нравится меньше всего: ну зачем и так задерганным российским обывателям создавать лишний стресс, которых предостаточно и так в нашем фатерлянде?

Этот прыжок заснял на пленку ее муж. Внутренне содрогаясь. Тогда его эта Валькирия еще восторгала своей смесью неординарности и чистоты. Сколько бы ни вилось вокруг кобелей, байкеров, парашютистов, летчиков, Лада никогда не могла жить одновременно с двумя мужчинами, хотя ее первый роман случился чрезвычайно рано с боцманом речного судна, на котором они с мамой плавали до Астрахани. Она могла жить только с одним мужчиной, ибо, по ее словам, иначе разрушалась некая внутренняя целостность.

Наверное, недаром говорят герметики\*, что каждый мужчина, бывший в интимной связи с женщиной, оставляет как бы свой отпечаток. И потому проститутки, чаще всего, существа с разрушенным «я». У Лады мужчин было немного и главными были мужья, а остальное, как она выразилась однажды, вероятно, было нужно лишь для того, чтобы понять — не то! Первый муж, с которым она занималась мотокроссом, как-то сказал:

---

\* *Герметизм, герметика, или герметическая философия — религиозно-философское направление в поздней античности, возникшее в Египте (Александрия). Название «герметизм» происходит от имени эллинистического бога Гермеса, в образе которого соединились греческое (Гермес) и египетское (Тот) божества. Г. в собственном смысле, или так называемый «высокий», теоретический Г., представляет собой учение о природе высшего Бога, о человеке, о мире, о спасении души. Отсюда герметический — сокровенный, и в обыденном смысле герметичный — закрытый плотно, наглухо. Герметики, или герметисты, — последователи этого учения.*

«Теперь ты знаешь, как надо по-настоящему, и не сможешь никогда по-другому». Это и стало принципом жизни. Или по-настоящему, или никак. Да или нет. Так она любила своих детей, второго мужа, так она дружила, летала, так она прыгала — в общем, жила.

Поселки пролетали так быстро, что буквы на указателях сливались, и я не мог сориентироваться, где мы.

Я не знал точно почему, но чувствовал, что мне нужен этот парашютный прыжок, первый и, возможно, последний в жизни. Так же чувствовал, как чувствовал в девяносто первом году, что надо идти к Белому Дому... И, кстати, время совпадало: двадцатого августа, ровно четырнадцать лет назад!

С тех пор многое изменилось — и я, и страна, осталось лишь твердое убеждение, что коммунистический Карфаген должен быть разрушен, а то, что нас, стоявших ночью на площади, обманули и оболгали политические фокусники — ну, это дело второе. Мы тогда рискнули, и риск имел смысл. Нет, я всегда был против бессмысленного риска, о котором сейчас с увлечением вещает Лада. Один ее друг проехал просто так, чтобы перед ней покрасоваться, на мотоцикле по дуге арки Подольского автомобильного моста.

Ну а у меня? Три года назад врачи поставили мне диагноз неизлечимой болезни, и той весной я бродил по Тимирязевскому парку, что рядом с больницей, мысленно прощаясь с расцветающей из-под последнего снега природой, целовал зеленые почки, уверенный, что не доживу до следующего апреля. Я знал эту болезнь, когда человек умирает постепенно: сначала отказывают ноги, руки, он начинает ходить под себя и остается лишь «говорящая голова», по выражению одного из специалистов профессором. Я сам видел парочку таких больных. Один был летчиком из отряда космонавтов: он был чрезвычайно горд тем, что еще мог левой рукой слегка подтянуться за подвешенную к потолку перекладину.

А у измученной молодой женщины, которая за ним ухаживала, меняя и днем и ночью заполняющиеся мочой презервативы и загаженные простыни, стояли меж воспаленных бессонницей век непрсыхающие слезы. Она его получила от той, которая когда-то увела, а когда пришла беда — бросила.

Следующей была сорокалетняя красивая женщина, горнолыжница в прошлом: у нее была обездвижено тело ниже пояса, и она создавала из цветов удивительные икебаны.

Как странно: болезнь поражала совершенно здоровых, активных и сильных людей без всякой видимой причины, не оставляя надежды на спасенье! Эта женщина жила с восьмидесятилетней мамой, вынужденной, кроме всего прочего, через каждые два часа менять у дочери марлевые прокладки и стирать, стирать до одури, до гипертонического криза, лишь бы избежать этого жуткого запаха запущенного тела, запаха смерти.

В отличие от них, мой случай развивался медленно: то ли лечение помогало, то ли мысль о маленьком сыне, которого надо поднимать в ощерившемся со всех сторон пещерном мире.

Я почти не чувствую ног, они будто баллоны с закачанным под давлением газом, а до груди тело будто покрыто лубяной корой, будто корсет (человек ко всему привыкает — привык и я к этому корсету), но главное еще сохраняется — способность двигаться! Идти я могу довольно долго, хотя мелкая координация ног, когда, к примеру, приходится садиться за стол или выходить из-за него, затруднена. Если я иду по прямой и ровной дороге без колдобин, то меня никто не примет за инвалида третьей группы, так я могу ходить необыкновенно долго, сложности же начинаются на неровностях и колдобинах — вот тут смотри в оба, чтобы не споткнуться и не полететь вниз.

Болезнь поднимается снизу, медленно, уже четыре года, сначала до колен, потом до паха, потом до пояса, потом до груди — будто трясина, которая засасывает,

но, слава Богу, я могу еще двигаться! Пока... Три года назад мой дорогой лечащий доктор настоятельно советовала мне избегать стрессов, не пить спиртного. Вообще!

За это время от меня ушла любимая женщина; чтобы не свихнуться, я пил пиво, красное вино, смесь дешевого коньяка с пепси-колой, которую называю коктейль «Союз-Аполлон» и который хоть как-то взбадривает меня. Сын стал взрослеть, хорошо сдал экзамены за девятый класс, и мое общество ему все более заменяют сверстники и компьютер.

Последние полгода мама впала в старческий маразм, и я почти переселился к ней. Каждый день она задает мне одни и те же вопросы: «Как ваше имя-отчество? Где я? Когда мы поедем домой?» и т. д. Последний раз она спросила: «Зачем я?» «Ты, — ответил я, — была для того, чтобы родить меня, а я родил твоего внука, а сейчас ты отдыхаешь...» Она смотрела на меня светлыми, непонимающими и тревожными глазами.

Жена живет в пяти минутах ходьбы. Она заходит раз в неделю, делает небольшую уборку, позволяет использовать свою стиральную машину для стирки грязного, стремительно накапливающегося под большим человеком белья. Она делится с матерью моей и мною ужином, и мне не приходится готовить три раза в день, а только два...

Свой ежедневный труд я воспринимаю как некое послушание, но однажды, выливая очередной горшок, подумал, что в жизни накопилось слишком много достоевщины, и не мешает ее разбавить чуть-чуть джеклондоновщиной! Хотя я уже и ходил в горы, поднимался на четырехтысячник, плавал на шлюпках по озерам Заполярья, стоял под Белым Домом, попадал в шторм на Ладге, видел Тихий Океан, Италию... писал книжки... Но это было, и пауза затянулась...

Конечно, это случилось не сразу, — я прочитал цикл стихов Лады Тихомировой: «Я и небо!». Лада прыгала с парашютом уже дважды, держала штурвал спортивных Яка, Вильги, планера. Мы знали друг друга давно: дважды, перед тем как родить, она приходила ко мне в поликлинику на ультразвуковое обследование: я измерял маленького человечка и с удовольствием сообщал, что все в порядке, и она уходила окрыленная — так появились двое сыновей. Ужасное случилось на третий раз. Вновь она пришла ко мне улыбающаяся, красивая... Я поставил датчик на круглый живот, глянул на экран и содрогнулся: я увидел остатки погибшего плода... Страшно не люблю сообщать отрицательные результаты людям, особенно онкологическим, а тут еще человек не посторонний! Как сказать ей об этом, матери? Женщине с лучистыми глазами, верящей в Бога, ждущей лишь единственного ответа — что все хорошо? И тут же стоял ее муж. А я тарасился в аппарат и не видел ничего: лишь плодный мешок в матке и осадок, будто белая глина, — остатки плода... Лада видела мое нахмуренное лицо, заволновалась: Что? Где?..

— Не вижу... не вижу плода, — сказал я тогда.

— Как так?! За что? — спросила она с отчаяньем в глазах.

— Я не знаю, я, может быть, плохой доктор, пусть еще кто-нибудь посмотрит...

Мой диагноз, увы, подтвердился.

С тех пор, когда я вспоминал о Ладе, меня всегда томило темное чувство — сродни чувству вины.

С тех пор мы долго с ней не виделись, но однажды, шагая по аллее по своим заботам, я увидел потрясающе красивые открытые ноги из-под белых шорт и вольно подумал с философским удивлением, что вот кто-то может пользоваться этими ногами, запросто трогать их, гладить. Наверное, очень богатый. Мелькнуло, какие бездны разделяют меня, больного неизлечимой болезнью, погруженного по ноздри в бытовое болото, и жизнь этой молодой, небедной женщины. Конечно,

да еще светло-русовая блондинка... Блондинка неожиданно обернулась, и взгляды наши встретились.

— Алексей Павлович!

— Лада??!

Господи, как относительно все пропасти нашего воображения! Сейчас есть, через мгновение — нет...

Лада стояла у колясочки со своим двухмесячным ребенком. Все-таки доби-лась своего (но кольнуло, что не ко мне все-таки пошла на обследование). Но это ревность профессиональная, а по-человечески вполне можно понять — от моего кабинета у нее должны были остаться малоприятные ассоциации.

Я стал извиняться, что мне пришлось в свое время быть черным вестником, но она уже жила другой жизнью — третьим материнством, и в душе ее не было видно ни следа неприязни или страха. И третий ребенок ее нисколько не испортил, будто и не рожала вовсе — мягкий полудетский овал лица, плавная, без малейших излишеств фигура... И все-таки известием о двух первых сыновьях-то я ее порадовал.

Бедный муж, когда он снимал ее каскадерский полет со Строгинского моста, был уверен: появятся дети и весь этот экстремизм неизрасходованных сил уйдет в них. Появился уже третий ребенок, а она все такая же и собирается прыгать с парашютом.

Он просчитался, как то и дело просчитываемся мы, когда встречаем другого человека и собираемся вылепить из него свое подобие.

## 2

Мы уже за полсотни километров от Москвы, вот и поворот на аэроклуб, над бетонкой короткий зеленый тоннель из ветвей деревьев, в конце наглухо закрытые ворота с изображением белых раскрывшихся парашютов на голубом фоне. Приглядевшись, слева можно заметить приоткрытую калитку. Выхожу из машины и сталкиваюсь с одетым в летную униформу пожилым дядечкой с картофельным носом и крохотными хитрыми глазками — сторож, человек, который пропускает нас в романтику.

— Как проехать в аэроклуб?

— А платите тридцать рублей и вперед метров сто, увидите.

— А стоянка?

— Там все, там и стоянка...

После того как тридцатка перекочевала в карман охранника, безмолвные, казалось с коммунистических времен не окрашивавшиеся ворота незамедлительно и гостеприимно распахиваются, и мы проезжаем.

У двухэтажного здания аэроклуба из белого кирпича, за которым виднеется обширное травяное летное поле и слышен легко будоражащий шмелиный гул самолетных моторов, уже припарковано несколько машин, бродят люди, около тридцати человек (видно, многие приехали на автобусе) — парами, одиночками, сбиваются в кучки... В основном молодежь, но есть и пожилые; в основном парни, но есть группа совсем молоденьких девчонок.

Инструктаж. От этого слова меня продирает озноб. Одна группа ранее прыгавших сразу ушла на поле, а мы познали все его удовольствия.

На ступеньки перед собравшимися вышел немолодой крепкий мужчина с покатым лысоватым черепом, бровями питекантропа и волчьим носом — инструктор.

— На прыжки?

— Кормящая мать? — чуть вскакивают щетинистые брови инструктора. — Тоже прыгать?..

Ребенок не мешает, он оставлен внизу у доброй женщины лет сорока, которая сама вызвалась помочь, а скоро подъедет племянник Сергей, который попробует заменить Алене маму во время ее прыжка.

— Построиться по два... — пересчитывает головы, ведет на второй этаж в классную комнату, занятую по периметру столами и стульями. Все рассаживаются — не меньше полусотни человек. Кому не хватило стульев, стоят, Ладе, как одной из немногих представительниц женского пола, занятое было место сразу галантно освобождают.

— Так... Я ваш инструктор, зовите меня Василий Иванович или товарищ Жеребцов, — сразу резко устанавливает между собой и нами дистанцию инструктор, показывая, что не потерпит никакой демократии и фамильярности. Звучит примерно так: «Зовите меня “товарищ Сталин”»...

Переписывает наши фамилии, затем каждый ставит свою подпись под его толстым пальцем.

— Смертный приговор себе подписываем! — шутит кто-то. Негустой смех...

Немного волнуюсь. Впрочем, я боюсь не столько прыжка, сколько того, как я на него прореагирую физиологически, психически — ведь я еще ни разу не пробовал это делать и не знаю, как поведет себя мой организм.

Говорят, такое бывает независимо от воли. Особенно запомнился мне услышанный рассказ о парашютном прыжке моего сокурсника в далекие институтские годы: «Лечу, ощущение счастья, а по ногам теплое течет...» Не очень бы хотелось осрамиться перед Ладой. Поэтому я с утра принял всего чашку чая с сахаром, заев двумя галетами и на всякий пожарный случай прихватил запасные джинсы. Может, надо было надеть памперсы? Но они под джинсами не поместятся.

Еще я слышал о клинических случаях страха: солдаты, ходившие на смерть, в атаку, не могли прыгать с парашютом, цеплялись всеми четырьмя конечностями, сопротивляясь инструктору, и их приходилось выбрасывать пинками в зад. По этому поводу я хотел бы попросить нашего инструктора, улучив момент наедине: «Товарищ Жеребцов! Прошу вас, как бы я ни вопил в самолете, как бы ни сопротивлялся, как бы ни цеплялся и как бы ни умолял — выбрасывайте меня беспощадно!» Но случая не представилось: Жеребцов был все время занят и — среди людей.

Нас загнали в зал — парашютную, — разбили на восьмерки и десятки, выстроили по весу (в прикидку): самые тяжелые должны пойти раньше легких. Я оказался среди тяжелых третьим слева, Лада среди легких — на правом фланге, так нас разлучили. Разобрали лежащие на полках парашюты и стали подгонять ремни, которых было такое множество, что казалось, сам черт не разберется в них. В какой-то момент мне показалось, что я никогда не смогу надеть парашют, но помог инструктор, он защелкнул последний карабин на груди, и дыхание у меня перехватило.

— Туго, — сказал я.

Жеребцов грубо дернул меня за лямку на груди и сказал: — Нормально!

Но это было только началом наших мучений, которые продолжались четыре часа. Мы оставили парашюты, запомнив последние три цифры номера и пошли слушать интересную лекцию товарища Жеребцова. Ее бы хватило на целое руководство, которое следовало бы изучать не менее двух лет. Девяносто девять процентов информации было обречено быть забытой сразу после прослушивания. Но товарищ Жеребцов был аккуратен и инструкций не нарушал. Единственное, что он забыл рассказать, где находится заветное красное кольцо (мне его показал товарищ слева, прыгавший уже во второй раз).

— Считаете до ста двадцати трех и рвете кольцо, — объяснял Жеребцов.

Я наивно поразился:

— От одного до ста двадцати трех?!

— Да нет, — успокоил товарищ слева, — тогда тебе уже на земле придется досчитывать. Ты говоришь «сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три» — чтобы три секунды прошло.

Далее товарищ Жеребцов принялся нас «каруселить». Сначала он заставил нас прыгать в песочницу из тренажера — уродливо обрубленного куска самолета без кабины, хвоста и крыльев. Нужно было встать перед открытой дверью в стойку — правая нога вперед наступает на порог, левая назад, — оттолкнувшись левой ногой, выпрыгнуть, сжавшись, присесть в песочнице, досчитать до ста двадцати трех, затем, распрямляясь, рвануть с левого плеча воображаемое кольцо, широко отведя правую руку, и, наконец, воздев руки кверху, крикнуть: «Купол!» Все это в выполнении инструктора выглядело довольно легко: тело у него было звериное — такие люди до старости живут больше мышечной, а не мыслительной жизнью.

Я полез вместе со всеми в имитированный самолет.

— Ты куда? — пыталась остановить Лада. — У тебя же ноги!!!

Но мне казалось, что усилием воли я смогу сделать то, что показал Волчий Нос, ненамного хуже. Конечно, ноги свои я чувствовал так, будто они находились в десяти километрах от меня, но я все-таки к этому привык, а если идти по ровному асфальту в одном темпе, так посторонний от здорового не отличит...

В салоне нас рассадили в том порядке, в каком мы должны будем прыгать. Итак: «Первый — пошел!», «Второй — пошел!», «Третий — пошел!»

Я прыгнул тяжело и неудачно, попытался подняться, но ноги не слушались: сигнал от мозга до них шел слишком долго по разрушенным болезнью нервам, меня качнуло вправо и, чтобы не упасть, царапнув песок руками, я тяжело, как утка, пробежал пару шагов и только после этого смог выполнить требуемое: рвануть кольцо и встать...

— Плохо! — услышал я голос инструктора. — Будем повторять, пока не получится.

Но, сделав несколько шагов, я почувствовал, что повторение для меня смерти подобно: правый голеностоп, на который пришлась большая часть моего восьмидесятисемикилограммового веса во время неудачного прыжка, оказался слегка растянут. Я понял, что с каждым новым тренировочным прыжком лучше у меня не получится, только окончательно растяну сустав, меня неизбежно снимут с прыжков, и мне никогда не удастся, как писала в одном из своих стихотворений Лада «Шагнуть за собственный ужас».

— Уходи, — тихо сказала Лада, — на глаза ему не попадайся, а спросит — скажешь, в туалете сидел...

Мне действительно удалось затеряться на тренировочной площадке, где колготился народ и другие инструктора, и Волчий Нос обо мне не вспомнил. У меня был с собой эластический бинт и, забежав за угол, я попытался перевязать сустав. Но бинт был длинный, путался, а обрезать его было нечем и, чертыхаясь, чувствуя, что вот-вот меня накроют и тогда уж точно отстранят от прыжка, я его скомкал и спрятал в обширный внутренний карман джинсовой куртки.

А тем временем тренировка вступила в новый, не менее рискованный для моего голеностопа этап, внешне напоминающий какую-то детсадовскую игру: прыжки с трехступенчатой пирамиды — тренировка приземления: ноги вместе, полусогнуты, всеми ступнями о землю... Первая ступенька, с которой нам полагалось прыгать, была немногим более метра, все начали со школьно-детсадовским увлечением прыгать, и мне снова показалось на миг, что уж такое упражнение я сделаю, но, будто разгадав мои мысли, Лада толкнула меня в бок: «Не вздумай!»

Я медленно отрететировал движения в сторонке, насколько мне позволяли запоздало слушающиеся меня ноги и голеностоп. Потом отошел, спрятавшись за шашлычной палаткой, будто бы от нечего делать разглядывал куски мяса и краем глаза сек движения на площадке.

— Вам шашлык? — отвлекла меня продавщица.

— Нет... позже...

— Господи, да когда же это закончится?! — удивлялась Лада. — Первый раз нас бросили через пятнадцать минут инструктажа! А тут уже третий час подготовки.

Мы пошли к похожим на детские качели «сидушкам» — подвязанным парашютным системам со стропами к тросам. Это уже было легче, с трудом натянул сумку на свой зад (я наконец начал понимать назначение некоторых ремней и карабинов), прихватывая ноги в паху, ляжки на груди. Волчий Нос рассказал, как управлять парашютом: двигать его вперед по горизонтали, назад, в стороны, разворачивать по ветру. Оказывается, парашют вовсе не бесформенное нечто, обреченное подчиняться ветру и случаю, его нехитрой системой можно управлять.

Но в целом казалось, что задачей Волчьего Носа было во что бы то ни стало напугать нас еще до прыжка и заставить скинуть все и побежать к воротам аэроклуба с криком: «Мама, я хочу домой!»

Инструктор рассказывал, как действовать с запасным парашютом, как бегать по куполу оказавшегося внизу парашюта товарища, что делать, когда летишь на стенку, повисаешь в лесу на дереве и еще массу полезных вещей, которые с первого раза запомнить невозможно.

Время уже давно перевалило за полдень: на аэродроме гудел Ан-2, поднимались все новые группы, небо было синим и безоблачным, «сачок» наполнен ветром лишь наполовину, болтаясь дырявым днищем, как пустым рукавом. Ветер средний, на грани допуска к прыжкам.

Лада качала свою Алену, периодически кормила ее своей великолепной грудью, и инструктор, зная, что это не первый ее прыжок, не приставал к ней с тренировками. В небе расцветали белые пушинки парашютов, и теперь каждый из нас смотрел на них, провожая глазами до самой земли не как простой зритель, а лицо заинтересованное, отчасти отождествляя себя с тем, кто сейчас «там», кто уже «шагнул за собственный ужас», наедине с ветром и небом... И сердце слегка волновалось: как неизвестного собрата примет земля? И вздох облегчения вырывался, когда парашютный купол, достигнув земли, начинал мягко опадать... А здесь тянуло запахом шашлыка...

### 3

Наконец! Мы, нагруженные выкладкой и перетянутые ремнями, спускаемся из парашютной и гуськом движемся к летному полю. Шаг наш тяжел, как у псоврыщарей на Чудском озере, — вся выкладка около двадцати килограммов (почти как рюкзак в горах): основной парашют за спиной, запасной висит на брюхе, дыхание сдавливает карабин, прочно прижимающий к грудной клетке предмет особой заботы инструктора («Ее ни в коем случае не терять!»). Это сложенную сумку, в которую придется собирать его материальное хозяйство на земле.

Но, оказывается, это еще не все. У края летного поля нас высаживают снова ждать под прямым солнцем. Не хватало получить тепловой удар прямо перед прыжком, и я украдкой достаю носовой платок и закрываю им макушку. Однако, увидев, что меня снимает Лада, прячу платок...

— Для меня главное, чтобы моя маленькая не плакала, пока я буду летать, — говорит Лада. Маленькая уже в руках подъехавшего подстраховать Сергея.

Надеваем шлемофоны. Нас еще раз проверяют, заглядывая за ворот, переписывают номера парашютов... Теперь уже совсем скоро... Одномоторная зеленая



этажерка устремляется круто вниз, будто падая в пике, бежит по взлетной полосе... Перед нами останавливается и лихо разворачивается, оглушая гулом винта и обдавая горячим ветерком. В борту самолета раскрывается дверь.

Пора!

Инструктор движется вперед, и мы за ним. Тяжело забираемся в темную утробу «Аннушки» по узкому трапу. Рассаживаемся в условленном порядке: я — третий от двери, Лада — шестая, прямо у открытой кабины пилота. Сидеть с парашютом вполборота ужасно неудобно, тесно, давит сбруя, трудно дышать, душно. Хорошо бы все это поскорее закончилось.

Мотор взревел, и машина помчалась куда-то. Она взлетела так быстро, что момент отрыва от земли я и не почувствовал, и то, что мы в воздухе, я понял лишь по слегка накренившемуся полу в салоне. Пытаюсь глянуть через плечо в иллюминатор: это очень неудобно крутить головой в шлемофоне. Всю жизнь боялся высоты, но любопытство сильнее... Краем глаза вижу скошенную равнину и стремительно уменьшающиеся домики дачного поселка. Что-то мутное — предвестник животного ужаса — вдруг приподнимается от живота к горлу, лучше не смотреть. Сознание потеряло привычную физическую, земную опору: все вокруг неустойчиво, колеблется: косою пол салона, скособоченные стенки и потолок. И хватиться надежно не за что, сбруя не дает.

Душа учится искать опору лишь в самой себе, теперь привыкай к себе, как к независимой точке в пространстве. Так, наверное, и у космонавтов. Ухнули, как на качелях, вниз и выправились — воздушная яма! Волчий Нос, вцепившись двумя руками за косяк, стоит у закрытой двери и пытливно наблюдает в маленький иллюминатор удаляющуюся планету. Нашупываю на левом плече кольцо. Скоро. Скоро. Сбруя тяготит, и согласен на все, что угодно, лишь бы избавиться от нее. «Шагнуть за собственный ужас!»

Почему мы это делаем? Для многих мужчин и таких, как Лада, женщин жизнь — большая игра. Для того же пилота, который нас везет, для Волчьего Носа, для нас... пусть потная, тяжелая нудно-кропотливая, но все же игра! И как ребенок, лишенный игр, остановится в своем развитии, так и наши души без этого элемента игры, кажется, немеют, омертвеют. Для меня есть еще причины — неизлечимая болезнь, через которую я должен переступить, человеческое предательство, долгое умирание матери. «Шагнуть за собственный ужас!»

Неожиданно-жданый резкий гудок и вспышка красной лампы под потолком. Инструктор рывком отодвигает дверь, за которой — светлый ад...

«Первый встал!»

К проему, хватаясь за стенки кабины, проходит самый тяжеловесный из нас. Мужик лет под шестьдесят. Обыкновенное лицо клерка — невыразительно закругленное, с русским курносом носом, глазками-васильками. Он ставит левую ногу на порог, правая отодвигается назад — все четко, как учили. Простое некрасивое лицо внезапно преображается: челюсть набухает, в глазах появляется решимость и неожиданная ясность, будто золотая руда сквозь глину высветилась. Правая рука сжимает кольцо, почти над сердцем лежит, будто рыцарь клятву дает, левая для устойчивости уцепилась за край двери, отпускает его.

«Пошел!»

И человек исчезает в проеме. Дальнейшее видно лишь Волчьему Носу. Ухватившись руками за края дверного проема, он внимательно смотрит вниз. От того, как пошел этот первый, как и куда его сносит ветром, зависит, как пойдём мы. Инструктор захлопывает дверь, и самолет идет на следующий круг.

Дверь вновь распаивается в никуда.

«Трое встали! Три встали!»

«Второй пошел!» — хлопает инструктор по парашюту идущего передо мной товарища, и он исчезает... Я принимаю стойку, смотрю прямо перед собой, глаза — в белое, ни в коем случае не задевая землю.

«Третий пошел!» — толкает в спину инструктор... и что-то белое, плотное бьет мне в глаза, и я перестаю существовать.

.....  
*И вот Ан-2, открылась дверь,  
Не отступит назад теперь.  
Пилот сигналил два гудка, —  
То значит время для прыжка.  
Инструктор дал команду: «Встать!» —  
Пора пришла борт покидать,  
Вот кто-то ужас превзойдет,  
И сделать это мой черед.  
Не дожидаясь вслед пинка,  
Разбег готовлю для прыжка.  
Мне крик «Давай!» шагнуть помог,  
И подхватил меня поток,  
Небесный вихрь меня кружил,  
Полет прекрасный мне дарил,  
А ветер счастьем бил в лицо. —  
Как не хотелось драть кольцо!  
Я б с небом дольше обнималась,  
Еще кувырк, еще хоть малость,  
Но кто-то вдруг сказал: «Эй, ты,  
Тащи! Не хватит высоты!»  
И я рванула что есть сил,  
И купол свой Д-5 раскрыл... \**  
.....

Так описывает свой первый прыжок Лада Тихомирова. Длинновато, конечно, но искренне!

Признаться, я не чувствовал ничего похожего. В природе много подобного, но ничего копирующего, даже песчинки на морском берегу разные, так и тысячи, миллионы парашютных прыжков, казалось, одинаковы, но все равно непохожи, несхожи и ощущения.

Я совсем не запомнил мгновения, когда летел сквозь воздух и даже когда дернул кольцо, — сознание, видимо, отключилось, и действовал голый, самый архаичный инстинкт самосохранения.

Я вдруг почувствовал, как внезапно кто-то властно и мягко подхватил меня под мышки и еще дал провалиться вниз, и, наконец, стропы надежно натягиваются, и я, кажется, совершенно неспешно плыву над землей — над этим чудовищно-огромным пространством, где леса, поля, поселки... Как во всем этом разобраться? И, как положено, вздев руки вверх и увидев над собой белое полотно с круглой дыркой посередине, я ору яростно и восторженно: «Купол!!!»

Один в голубом небе и — тишина... Пытаюсь сориентироваться, смотрю вниз и не могу найти аэродром, ведь сверху все выглядит совершенно по-иному, а карты района я не видел...

Огромные черно-зеленые массивы лесов, будто обрезанные по лекалам, редкие желто-серебристые поляны: вот самая большая — наверное, это и есть аэродром.

---

\* Стихи Елены Смирновой.

Так и есть, а прямо подо мной дачный поселок. Домики на макете. Чтобы не упасть на чью-нибудь крышу или грядку, натягиваю передние стропы, придавая парашюту горизонтальное движение и направляя его к полю. Ветер в спину тоже мне помогает: несет к полю.

Оказывается, в небе я не один: сзади опасно приближается чей-то купол, и я, что было сил, натягиваю передние стропы, чтобы уйти от него, не схлестнуться.

Поле расширяется и будто разверзается, разбегается в стороны к горизонту. Кажется, трава уже недалеко, метрах в двадцати — тридцати, но черные человеческие фигурки на ней — величиной с мизинец: еще метров сто — сто пятьдесят будет! Травы разбегаются в стороны, порой сливаясь в пятна-блины: как-никак спуск пять метров в секунду! Надо готовиться, чуть сжимаю ноги, чуть сгибаю в коленях, соединяю стопы.

Боже, до чего мягкий и ласковый был этот удар о землю! Будто Господь подстелил специально подо мною пуховый ковер толщиной не менее полуметра — высоченная трава, мхи, полуболотистая почва сыграли именно такую роль.

Я даже думал, что устою, но меня потянул вперед раздутый ветром купол парашюта, и я завалился. Но как приятно было лежать в этой густой мягкой траве, не хотелось даже шевелиться! Однако я сразу стал грамотно (как про себя не без удовольствия отметил) гасить купол не вставая: сначала подтянул нижние стропы к себе, постепенно и остальные, пока белое полотно послушно не легло на траву.

Я встал: голеностоп мой вел себя не хуже, чем до прыжка! Я был цел! С облегчением сбросил тяжелую сбрую и вдохнул чистый полевой воздух. Я подошел к белой ткани, погладил ее как нечто живое: ведь этот парашют удержал мою жизнь, и дай ему Бог также удержат жизнь других!

Кое-как я зачихал в сумку все хозяйство. Где-то вдалеке, в поле, показалась розовая кофточка, быстро ко мне приближающаяся.

— Алексей Павлович! Алексей Павлович! — кричала Лада. — У вас все в порядке?

— А где твой парашют?

— Отдала ребятам... — Лада страшно волновалась за мой голеностоп, но все обошлось...

Приземлился я, надо сказать, совсем недалеко от поселка, так что мои маневры в воздухе были не лишними — идти на другой конец поля к взлетной полосе предстояло через все поле. Какое же оно огромное! Тут-то мне было немного сложно с моими не чувствующими деталей рельефа и скрытых высокой травой колдобин ногами.

— Давайте помогу!

Лада взяла за одну лямку сумки, я — за другую. Трава поднималась выше колен, иногда по пути нам встречались примятые полянки — места приземления других парашютистов, с отходящими от них тропками, которые они проторили.

Трава была высокая, выше колен, и вдруг из нее, из самой глубины, послышались тихие голоса: «Я борт, я борт! Берите влево, влево берите, ветер...» — будто кузнечики обрели человеческие голоса, — но они доносились из шлемофона на дне сумки...

Мы шли, а поле все не кончалось... В небе майским жуком гудел Ан-2, в траве переговаривались кузнечики человеческими голосами. Мир был полон загадок и непостижимых взаимосвязей.

